



П. Е. Щербов. Базар XX века. Карикатура. 1908. Фрагмент

Сергей Маковский

## Неуемный

Автор воспоминаний о С. П. Дягилеве, Сергей Маковский родился в Петербурге в 1877 году в семье известного русского художника-жанриста К. Е. Маковского. Критик-искусствовед, статьи которого по вопросам искусства можно было найти во многих художественных журналах начала столетия, вплоть до «Мира искусства», поэт, выпустивший свой первый сборник стихов в 1905 году, устроитель выставок русских художников (первая из них — «Салон» — объединила всех передовых живописцев

и скульпторов), Сергей Маковский основал и долгие годы редактировал два популярных до революции художественных журналов — «Старые годы» и «Аполлон». В 1913 году Сергеем Маковским был основан специальный журнал, посвященный русской иконе. Вышло всего несколько выпусков этого богато иллюстрированного издания, в котором приняли участие все виднейшие знатоки древнерусского искусства, но война не дала возможности продолжить «Русскую икону».

После первой мировой войны, уже будучи в эмиграции, Сергей Маковский выпустил несколько книг по русскому искусству, наиболее значительные из них: «Силуэты русских художников», «Итоги современной живописи», «Народное искусство Подкарпатской Руси». В 1939—1944 годах он стал деятельным председателем Объединения русских писателей в Париже. Фрагменты взяты из книги «Портреты современников», вышедшей в Нью-Йорке в 1955 году.

Будучи усердным посетителем Мариинского театра, я часто видел Дягилева на спектаклях — сидевшего обыкновенно одиноко в креслах, или в фойе, окруженного своими сотрудниками; на нем вицмундир министерства двора, а в руке женский перламутровый бинокль на длинном стержне. Фигура его обращала на себя внимание барственной, несколько надменной осанкой. Нельзя было назвать его красавцем, но все было в нем выразительно и нарядно. Высокий, плотный и породистый, уверенный в своей «исключительности», он покорял осанистым изяществом. Даже большая, слишком большая голова с седой прядью над правым виском, слегка приподнятая и склонявшаяся к левому плечу (знак Венеры — сказали бы хироманты), не нарушала впечатления, а всмотришься в лицо — совсем другим покажется: красивые серые глаза светились в хорошие минуты затаенной грустью; улыбнется, сверкая крупными зубами, — чувственный припухлый рот очарует по-детски ласковой внимательностью. Дягилевский «шарм» происходил в особенности от этой убеждающей,

вкрадчивой улыбки; она обезоруживала, подчиняла, мирила и с его волевым высокомерием, и с раздражительностью, когда что-нибудь делалось не так, как он хотел.

За ним сразу укоренилась репутация эстета-сноба. Он и был таким, но за этой маской фатоватого барчука таилось нечто как бы противоположное и снобизму и фатовству — очень искренняя, очень взволнованная любовь к искусству, к чарам красоты, которую он называл «улыбкой Божества», и более того — сердечная, даже сентиментальная привязанность к России, к русской культуре и сознание ответственности перед ее судьбами.

Сам он мыслителем не был, не знаю даже — был ли умственно глубок и силен. Не ум поражал в нем, а находчивость, свойство натур волевых, рожденных для командных высот и коллективных трудовых подвигов. Вряд ли занимали Дягилева проблемы отвлеченно-идеологического порядка, тем более ветвистым словопрением, русским спорам «без руля и без ветрил» внимал он с заметным равнодушием; на собраниях «Мира искусства» чаще всего мотал себе на

ус, и только, а если и скажет что — так примирительно и кратко, словно нехотя уронит замечание своим петербургским говорком немного на «э», приберегая свой словесный «запас» для дела, для практического осуществления. Тут зато давал он волю щедрой своей экспансивности и находчивому слову. На какие только не пускался хитрости ума и изобретательные софизмы! И льстил, завораживая похвалами, и обиженно корил, и вскипал, бурно жестикулируя и бегая по комнате. Хоть кого

ции. Он подплыл в гондоле к ресторану с террасой на Canale Grande. Гондола причалила не к пристани, а к невысокому парапету с перилами, отделявшими террасу от канала. Дягилев перебрался через перила на террасу и протянул руку молодому красавцу гондольеру, приглашая его с собой позавтракать. Чопорную публику за столиками явно покорило...

Он любил «дразнить гусей», частенько и перегибал палку — как в художественных новшествах для «эпатирования мешан», так и в личном быту. И это ему не прощало, не прощало его независимость от общественных пут и установленных мнений. На него ополчился и столичный дворянский мир, к которому он принадлежал по рождению (недаром настаивал за границей на частице «де» к своей фамилии, что лишено смысла в применении к русским фамилиям, — Serge de Diaguilev), а сам путался с «какими-то художниками и литераторами»; ополчились и российские интеллигенты, носившие еще сапоги с голенищами и почитавшие мужскую нарядность признаком легковесности и реакционной гордыни.

Травля началась сразу, при первых же его шагах. И ругань, и зубоскальство. Как вышел «Мир искусства», благонамеренные газеты забили тревогу, нападая на редактора за «безвкусное кривляние», уличали в наглом самовосхвалении и в посягательстве на святая святых русского художества. Критики по существу не было, но тем охотнее печаталась безответственная хула, и широкая публика принимала ее как заслуженную декадентами кару. Дошло до того, что Буренин в очередном нововременском фельетоне, глумясь над ничтожеством Дягилева и Философова, позволил себе непристойные намеки на «сверхсвинство» «Мира искусства».

Тут случился забавный эпизод, который помнят, вероятно, старые петербуржцы.

Дягилев был суеверен и мнителен (как часто очень крепкие здоровьем люди), боялся заразы, в особенности почему-то — сапа, не терпел улицы с извозчиками и ломовыми и для безопасности (не только из щегольства) завел себе одноконную каретку в английской упряжи. Прочитав пасквильный фельетон, он тотчас велел подать каретку и вместе с Философовым поехал к обидчику на квартиру. Оба надели цилиндры. Растерявшаяся горничная пропустила их в рабочий кабинет Буренина, сидевшего за письменным столом. Узнав непрошенных гостей, тот вскопчил навстречу, но не успел двинуться с места, как Дягилев без лишних слов снял свой цилиндр и, нахлобучив его на голову нововременского зубоскала, прихлопнув сверху. Широчайший *coiffeur* Дягилева втиснулся до плеч беспомощно заматавшегося Буренина, а «нитканцы» как ни в чем не бывало вышли из кабинета.



С. П. Дягилев в студенческой форме. Начало 1890-х гг.

уговорит, убедит, заставит сделать по своей указке.

\* \* \*

Дягилев был щеголем. Его цилиндр, безукоризненные визитки и вестоны отмечались петербуржцами не без насмешливой зависти. Он держался с фатоватой развязностью, любил порисоваться своим дендизмом, носил в манжете рубашки шелковый надушенный платок, который кокетливо вынимал, чтобы приложить к подстриженным усикам. При случае и дерзил напоказ, не считаясь с «предрассудками» добронравия и не скрывая необычности своих вкусов назло ханжам добродетели... Вспоминается, как я встретил его однажды в Вене-

Не ручаюсь, точен ли этот рассказ в подробностях, но полвека назад именно так передавался он из уст в уста.

\* \* \*

Дягилев совмещал в себе вкусы многообразные, сплошь да рядом противоречивые, утверждал художественное восприятие, эклектизм. Разве в живописи он не любил самые разные аспекты «красоты»? Благоговея перед мастерами «великого века» и века рококо, он приходил в восторг и от русских дичков, как С. Малютин, Е. Поленова, М. Якунчикова; восторгался парижскими Салонами с Морисом Дени, Гандара, Англата и стал пропагандистом, правда не сразу, импрессионизма во главе с Монэ и Ренуаром; возносил на недостижимую вышину Пюви де Шаванна, но умиляли его и пейзажи Левитана, и мастерство Репина; а когда он насмотрелся парижских «конструктивных» новшеств, то ближе всего сошелся с Пикассо, Дерэном, Леже, и в последние годы поручал постановки им по преимуществу (из русских — сюрреалистическому Ларионову).

В этом эклектизме Дягилева многие видели признак непостоянства и... безудержного тщеславия: только бы удивить, озадачить, остаться неожиданным, «неповторяющим себя»! И это подозрение понятно: нельзя как будто одновременно обожать Чайковского и приходиться в экстаз от того, как Стравинский ломает его патетические мелодии, плакать, слушая Моцарта, и млеть от диссонансов Милло и Гиндемита; нельзя как будто от «Жизели», «Лебединого озера», «Шопенианы», от сладостной пластичности классического танца с тем же воодушевлением переходить к «стальным скакам» и акробатическим выворотам на балетной сцене.

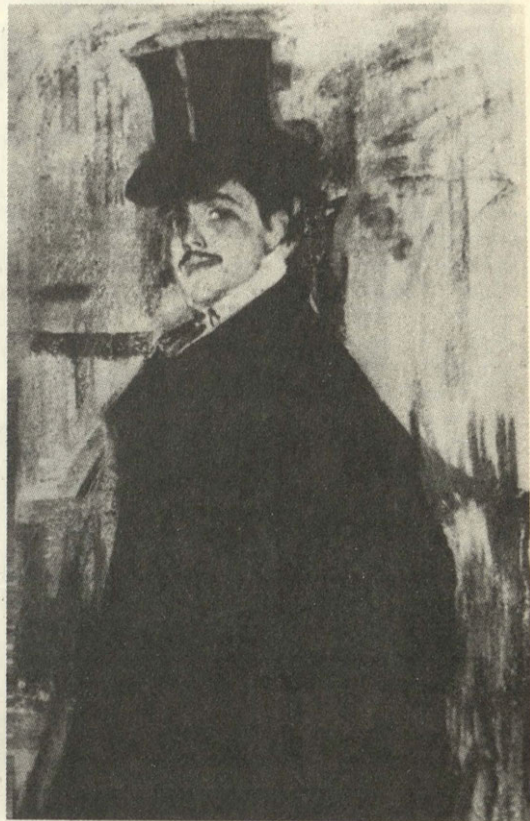
Будем справедливы, признаем, что «непостоянство» Дягилева происходило не только из желания угодить моде или парадоксальной необычности. Он действительно умел загораться, вдохновенно настраивать себя от прикосновения к чужому творчеству, как бы оно ни проявлялось, когда это творчество казалось ему искренним, подлинно живым, гениальным. В новизну он верил как в откровение, до конца жизни искал, предчувствуя какое-то окончательное, решающее благовестие красоты... В этом необычном диапазоне искусство-восприятия сила Дягилева, но, может быть, и его трагедия — его и всего мятущегося, эклектичного, куда-то спешащего века.

\* \* \*

Иностранцы относились к Дягилеву менее строго, признание его заслуг покрывало насмешливое недоверие к его новшествам и к нему лично. И все-таки даже в похва-

лах звучала подчас подозрительность: слишком ловок и развязен этот неумный русский!.. Не могло все это не отражаться на его природном оптимизме. С годами и силы стали угасать. И, главное, угасла вера в непрекаемую правду того, что он так долго считал своим призванием. Балетные триумфы продолжались, но, оглядываясь на пройденный путь, Дягилев чувствовал себя все более одиноким.

...Дягилев постепенно отходил от взлелеянного им детища, предаваясь другой



Сергей Дягилев. Портрет работы художника Ф. А. Малявина

страсти — библиофильству, собиранию редких русских книг, рукописей, автографов.

Была ли эта страсть главной причиной его охлаждения к своим балетам? Или он искал нового применения своей бьющей через край энергии? Трудно сказать. Как бы то ни было, библиофильству он предан не как простой любитель книги, а опять же — с мыслью о создании очень большого дела. Он разорился на покупку книг и рукописей, предпринимал в поисках за ними длинные путешествия по городам Европы, мечтал о музее-хранилище, которым продолжалась бы «за рубежом» традиция русской культуры. Он мечтал...

Но его подстерегала Смерть. Умер он внезапно, в Венеции, осенью 1929 года.